

А н д р е й Г р и ц м а н

П Р О Г У Л К А П О Р О Д Н О М У Г О Р О Д У

•

Пусть кошка спит, урчит чего-то
— она давно не любит, что
ложусь я пьяный по субботам,
но я клянусь, теперь учтем.

Вот лифт починят, будет лучше
возить наверх бутылки, снедь.
Вот женщина, она научит,
как жить и как мне умереть.

Но что касается утробной,
глубинной жизни: там все тож —
черт знает что за костью лобной.
Обрывки тем, «в солонке нож».

Сейчас весна, пора забыть бы —
жить аллергией, есть мацу.
И наблюдать за тонкой нитью,
которая ведет к концу.

•

Матросская тишина.
Тишина в больничных дворах.
Тополя и крапива, репейник.
Древние вязы.

В эту пору летит сквозь эпохи таинственный пух —
на брусчатку, в окно и на лист,
на короткие фразы.

Уплывает, как облако, в бездну страна.
В тишине только клекот и гуд,
Новодевичий колокол слышен.
И седой Чаадаев сидит у окна
— он грустит по друзьям
и письмо безответное пишет.

•

Гудериан трогает усы.
Поправляет на груди бинокль.
Замечает снежинку над выжженным полем.
Начало конца — думает Гудериан.
Снаряд пролетает к невидимой цели.
Генерал разворачивает крупномасштабный план:
Александров, Вязьма, Химки, Звенигород.
Дожди, близко зима.
По небу плывут смертоносные рыбы.
Застыло все — поле, лес, озеро.
И сам Гудериан в безнадежном покое на фото.
Свет посерел. Зима уже скоро, скоро.
На мертвое поле
снежинки летят — слепые агенты
ближних и дальних
переименованных
стран.

ПРОГУЛКА ПО РОДНОМУ ГОРОДУ

Я засыпал под угасанье гимна,
когда окно в глубоководном, зимнем,
начертанном свеченье фонаря
тонуло в завихренье февраля,
и за Кольцом остывшая заря
недвижимо плыла в вокзальном дыме.

У трех вокзалов, у трамвайных линий
коростой покрывал чернильный иней
у тени Косарева грудь и козырек,
лахудру пьяную, и Ленина висок,
суконного прохожего мешок,
транзитного, из Харькова в Калинин.

Свечение вечерних позолот,
усталого стройбата дальний мат.
Шальной таксист под мертвым светофором.
В его кабине фауна и флора,
бычки и водка для ночного спора.
Час ночи. Перекрытый переход.

Охряный ряд казарменно-петровский:
Лефортово, Девичье, Склифосовский,
на Сухаревской в будке — постовой,
внизу, под ним, алкаш на мостовой
с профузным матом, с болью грыжевой
в снегу соленом ждет транспортировки

в кишаций сумрак городских больниц.
Травмпункт, барокко, в голубях карниз,
сортир прокуренный с обрывками «Вечерки»,
где в душегубке хлорного угара
сукровица ночного разговора,
под гаснущие вопли рожениц.

Гниющее нутро больших палат,
безжизненный анабиозный сад,
сугроб, прожженный щелочным раствором,
заброшенный карбидом, «Беломором»,
у бани столб синеющего пара
висит, не в силах тронуться в полет.

Торжественная морга тишина!
Соль, сахар, яйца, спирт, чаек. Луна
взирает тускло в стрельчатость часовни,
и бой часов застыл старинноровный.
Здесь, в вековой листве, у самой кромки
ложится тихо благодать на нас

с прозектором, бессмертным диагностом,
лелеющим на цинковом подносе
старинную кунсткамеру хвороб:
испанка, шанкр, скрофула, аорт
шагреновость, рахит, сап, гумма, зоб,
и мягкие, слоющиеся кости.

Потом вдоль Самотеки в донных трубах:
Цветной бульвар, палатка «Субпродукты»,
по Сретенке — кинотеатр «Уран», «Комиссионный»,
над Донским тяжелый дым,
трамвай, ломбард, тюрьма, «Узбекистан».
Прогульщика божественное утро.

Суконная кирпичность старых школ.
Сардельки, горн, фамилии на «л»,
и тригонометрическая пытка,
гипотенуза, катет, темным утром
сухие пальцы логики событий,
бессмысленно ломающие мел.

Ступеньки, уголь, школьный задний двор,
сыр «Новость», «Старка», лето, комсомол,
кусты, где отметили Косого,
и где сломали целку Карасевой,
площадка с сеткой, где я как-то слева
забил через просвет свой лучший гол.

Бездомный свет заброшенных квартир.
Давно закрылась медленная дверь,
ведущая в страну зеркал разбитых.
Старуха с неводом, старик с ее корытом.
Все пусто, гулко, настезь все открыто
под выцветшим плакатом «Миру — Мир!»